



Рукетт Л.

---

**В СНЕГАХ АЛЯСКИ  
МЯТЕЖНЫЕ ДУШИ**

КЛАССИКА  
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО  
РОМАНА

Классика приключенческого романа

Луи-Фредерик Рукетт

**В снегах Аляски. Мятежные души**

«Алгоритм»

1920

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фр)

**Рукетт Л.**

В снегах Аляски. Мятежные души / Л. Рукетт — «Алгоритм»,  
1920 — (Классика приключенческого романа)

ISBN 978-5-486-03770-2

Луи-Фредерик Рукетт (1884–1926) – французский писатель. Был неутомимым путешественником и описывал в своих книгах места, где ему действительно довелось побывать, и реальные судьбы людей, с которыми приходилось сталкиваться. Его лучший роман «Великое белое безмолвие» (в русском переводе «В снегах Аляски»), написанный после нескольких поездок на Северо-Запад Канады, изображает борьбу за выживание в белой дикой местности против разрушающего душу одиночества, беспощадного холода, и прежде всего жестокости человека. В данный том вошли два произведения Рукетта. Герой уже упомянутого романа «В снегах Аляски», молодой француз Фредди отправляется на острова архипелага Королевы Шарлотты, где, по слухам, нашли золото. В дороге он знакомится с красавицей, которая направляется к мужу, полицейскому на Юконе. Однако несколько недель спустя ее мужа убивают. Подозрение падает на жену, и она обращается за помощью к Фредди... Роман «Мятежные души» является в какой-то степени продолжением первого. И здесь тот же герой в погоне за золотой химерой предпринимает новое путешествие, но на этот раз – в южные широты.

УДК 821.133.1  
ББК 84(4Фр)

ISBN 978-5-486-03770-2

© Рукетт Л., 1920

© Алгоритм, 1920

## Содержание

В снегах Аляски	7
Глава I	7
Глава II	11
Глава III	26
Глава IV	30
Глава V	32
Глава VI	35
Конец ознакомительного фрагмента.	39

**Луи-Фредерик Рукетт**  
**В снегах Аляски. Мятежные души**

© ООО ТД «Издательство Мир книги», оформление, 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011



## В снегах Аляски

*Темпесту, моему верному псу, который в моих скитаниях по Аляске своим чутким вниманием заставлял меня забывать о моих человеческих горестях.*

**Фредди**



### Глава I

#### Вместо вступления – описание одного визита

Вошел человек. Он удобно уселся в кресло, положил свою фетровую шляпу возле себя на ковер и сказал:

– Месье!.

Он произнес это слово «мейсье» – на английский лад, а потом добавил:

– Я – француз.

Я приветствовал его несколькими обычными фразами, но он остановил меня резким движением руки.

– Мне нужно вас благодарить, ибо вы человек очень занятой, а я вас беспокою. Знаю, знаю. Вот почему я постараюсь отнять у вас как можно меньше времени.

Литература, будь она французская, английская или другой страны, продается так же, как и горчица, вакса или сельди капитана Кука. Расклеивают афиши, бьют в барабан и кричат, складывая руки в виде рупора: «Эй, вы, прохожие, читайте роман господина такого-то! Это знаменитый человек. Его последний труд выдержал сто изданий по тысяче экземпляров». В зависимости от читающей публики, говорят еще так: «Роман такого-то – лучший из романов; старые девы, сельские священники и члены Христианской ассоциации молодых людей могут свободно его читать», или: «Роман этот старые девы, сельские священники и члены Христианской ассоциации молодых людей читать не должны».

Книги раскупаются в обоих случаях; одни приобретают их, чтобы получить здоровую, нравственную, годную для молоденьких девушек, литературу, другие – в надежде найти в них двусмысленные положения и фривольные описания.

Извините меня, но предки, – я имею в виду тех из них, кто в этом успел, – сняли в аренду все плакаты для реклам, все видные места, оставив для начинающих писателей только нижнюю часть стен, забрызгиваемую автомобилями и загрязняемую собаками, которые продолжают бродить по городу, несмотря на запреты полиции.

Я попытался вставить:

– Я не вижу, почему...

Энергичный человек перебил меня:

– Нет, вы видите, потому я и пришел именно к вам, что вы видите и можете уделить на плакате местечко и для товарищей, болтающих языком. Вы мне нравитесь. Десять минут назад я вас не знал, но представление, которое я создал себе о вас, не обмануло меня. Простите, я разучился говорить по-французски... Я хочу сказать, что вы представляете тот тип, который создало мое воображение на основании одного лишь вашего имени. Не случилось ли вам связывать... как бы это сказать... имена с физиономиями?

И, не дождавшись моего ответа, он продолжал:

– Ваши книги мне нравятся. Вы не разыгрываете из себя артиста, вы буржуа, несколько не стыдитесь своего буржуазного происхождения и изображаете его таким, какое оно есть на самом деле. Вы могли бы, как и всякий другой, достигнуть «большого тиража» разными крайними приемами, но вы просто не захотели этого. Всевозможные академии вызывают у вас улыбку, вы не стали монополистом добродетели, вы не спекулируете на адюльтере – и это хорошо! Вы рады помочь тем, кто только начинает свою литературную карьеру – а это еще лучше! Да-да, я знаю... знаю! Не принимайте генеральского вида, так как, несмотря на вашу мраморную маску, я различаю за вашими очками глаза, которые сверкают... иронией? Нет, добротой. Вот почему я здесь.

И, точно желая подтвердить свое присутствие, он еще глубже опустил в кресло и, поставив ноги, продолжал:

– Кто я? Фредди. Да, конечно, у меня есть и другое имя, как у всякого из нас, но это неважно. Мне минуло тридцать шесть лет... – Тут он взглянул на часы-браслет. – Вот уже два часа тридцать пять минут тому назад. Но эти тридцать шесть лет я прожил с пользой...

Он замолчал на несколько секунд, точно предаваясь своим мечтам. Я воспользовался этим, чтобы как следует его разглядеть. Лампа ярко освещала его лицо. Однако не может быть, чтобы ему было уже тридцать шесть лет. Я дал бы ему двадцать восемь или, самое большее, тридцать. Но достаточно было всмотреться в него лучше, чтобы заметить костлявое лицо, впалые щеки, легкие морщины на висках... складку горечи у самого рта... Этот человек, видно, много страдал... На этом лице сохранили свою юную свежесть только губы, ярко-красные, казавшиеся ярче и краснее от бледности щек... Лоб, освещаемый лампой, говорит о живом уме, а глаза во впадинах век сверкают темным блеском.

Человек продолжил говорить:

– Но я пришел сюда не для исповеди и не буду рыться, как делал это Жан-Жак Руссо, в прошлом моей жизни, никому не нужном. Чем я занимался? Вспоминаю свою мать, говорившую: «Тысяча ремесел – тысяча несчастий», а отец мой тут же добавлял: «Да, заметь, все это только скорее позволит тебе подохнуть с голоду...» Мудрые слова?

Действительно, я занимался рисованием, скульптурой, слагал восьми- и двенадцатистопные стихи, воспевая солнце, птиц, цветы, весну, точно солнце нуждалось во мне, чтобы излучать свою славу, точно я нужен был птицам для их упоительных трелей, цветам – для очарования нашего взора, весне – чтобы заставить нас верить в счастье! Узкий кругозор небольшого города был для меня слишком тесен. Париж – вот это простор!

Вряд ли вы ждете от меня рассказов о том, как протекало время в этом огромном городе. Приходилось уже думать не о триумфах, а попросту о желудке. Погоня за франком! Это тоже своего рода чемпионат. Много ли я принял горя, холода и голода? Много, очень много... Ну да ладно!.. Все это было и было поросло, а арабы говорят так: прошлое – мертво!

Тысяча ремесел – я прошел через них; тысяча бед – я изведal их.

Кем я был? Как это вам сказать?.. Я обходил редакции газет, чтобы поместить какую-нибудь статью. Я сочинял песни («У вас великолепно выходят стихи, дайте нам что-нибудь попроще... этак... в народном духе»), и когда я эту песню продавал (за пятнадцать франков), мне полагалось еще отчисление в шесть сантимов, когда какому-нибудь певцу угодно было включить ее в свою программу.

Театр – вот где мой конек! Да ведь одна моя пьеса была уже премирована и получила, словно животное на выставке, медаль, когда мне было шестнадцать лет!.. «Ваша пьеса, да... великолепно, отнесите ее господину имярек, который заключит с вами договор (половина авторских), затем четверть гонорара – в пользу режиссера, а другую четверть – директору». Я ставлю на ноль и все беру себе.

Я был секретарем... за всю свою жизнь я был много раз секретарем и не теряю надежды, что после моей смерти святой Петр зачислит меня в раю секретарем по отделу контрамарок!..



Секретарем театра (неизменно!): полтора ста франков в месяц, четырнадцатичасовой рабочий день и директор, изрыгающий ругань так же просто, как иной говорит или дышит... Этакая откормленная скотина, которая как-то особенно закладывала пальцы в жилетный карман и произносила: «Я работаю на пользу Искусства!»

Секретарем сомнительных газет, потом секретарем одного аббата... да-да, настоящего аббата, который заставлял меня переводить Иоанна Златоуста, а платил мне жалованье когда придется. Он любил повторять: «Хорошо жить под епископским посохом». Но увы! Позолота его посоха потускнела! Человек этот сидел без гроша; не мог же он, в самом деле, красть деньги, чтобы платить мне жалованье!

Затем я создал трест из депутатов какого-то департамента – три депутата, два сенатора – за сто сорок франков в месяц, но выплата происходила тоже нерегулярно. Тогда я послал к черту Бурбонский дворец, надел блузу и поступил маляром в одну мастерскую... да, простым маляром... если хотите, просто мазилкой! Я выкрасил под дерево помещения целого банка, покрыл суриком двутавровые балки какого-то дома на одном из бульваров, покрыл огнеупорным составом решетку лифта метрополитена на станции «Барбес»... Работал своими руками, зарабатывал восемь франков в день... и был счастлив... Увы! У меня была своя слабость... Да, литературный микроб... Я бросил малярную кисть, взялся за перо и поступил в качестве «негра»<sup>1</sup> к одному из симпатичнейших наших писателей, который... которого... которому...

Если вас это интересует, то у меня есть и дипломы, как у всякого, и даже, возможно, больше, чем я того заслуживаю. Я написал два сочинения на ученую степень доктора экономических наук и три сочинения по медицине. Я продал всю эту работу по пятьдесят сантимов за страницу, что для «негра» считалось прекрасным вознаграждением. А потом, устав от беготни по Парижу с пустым желудком, я, чтобы проветрить свои мозги, объехал весь земной шар. «Я взял свой шанс»<sup>2</sup>, как принято говорить у нас в Америке, и прогулялся от Радамеса до Агадира, видел оазисы юга с их пышными пальмами, спал в борджах<sup>3</sup> и в палатках, вечером, в Сахаре, внимал песне сокрара<sup>4</sup>, подымавшейся словно дым фимиама в прозрачную высь, и интуитивно начал постигать все величие, всю таинственную красоту Простых Людей. Ах, как далеко было это от погони за заработком под вымазанным чернилами небом Парижа!

Я проник в Маракеш, красный город, окруженный тройным валом, и с высоты агадирской цитадели долго любовался океаном, колыхавшим свои зеленые воды, точно желая обольстить пламенную землю чернокожих...

Америка? Да, я только что оттуда и мне ли ее не знать? От Пунта-Аренас у Магелланова пролива до самого мыса Барроу, крайней точки Аляски... Чем только я там ни занимался!.. Словом, старая песня: тысяча ремесел, тысяча несчастий!

Я читал лекции о французской литературе, когда литературный микроб переходил в наступление. Бывало тоже, что я служил рудокопом на золотых приисках, погонщиком собак и проводником при санях.

Я был даже официальным представителем правительства республики на какой-то большой ярмарке, где-то там, на самом краю Дальнего Запада. Это было как раз во время войны. Так как семь комиссий, освидетельствовавших меня, признали меня негодным к военной службе, я занялся пропагандой; это было еще до вступления Америки в войну. Но вот пропагандой стали заниматься и люди, состоявшие на военной службе, которым благоприятствовал воздух Америки. Они, конечно, сразу заладили про меня: «Этакая дрянь, этакий паршивец! Караул! Чего он вмешивается не в свое дело?» Мне это дали ясно понять... Хор почтенных

---

<sup>1</sup> Прозвище авторов, продающих свои рукописи другим, выдающим их за свои.

<sup>2</sup> То есть попытал счастья.

<sup>3</sup> Дом в Алжире.

<sup>4</sup> Погонщик верблюдов.

людей отпраздновал свою победу, по старинному обычаю, пляской скальпа. Во рту у меня было горько, как после обильной выпивки; я мог бы рассердиться, заняться мелкими дрязгами, которые всегда ходки, как разменная монета... Эх! К чему все это?

Я удалился в девственные пустыни Великого Севера. Там я действительно изведаль покой души и тела. Жизнь была суровая, но зато я наслаждался и физическим и духовным здоровьем.

Вот, в сущности, почему я здесь. Возьмите эти несколько листов бумаги (разумеется, все тот же пресловутый микроб!); я заносил в них что попало в часы досуга и одиночества и в часы, полные горечи, когда отчаяние сдавливает мозг.

Вы прочитаете все эти записки... спасибо, но это еще не все. Видите ли, Париж со всеми его комбинациями и трюками – все это было хорошо, когда моему брэнному телу было лет двадцать, а сейчас, нет... я все бросаю... да, и возвращаюсь к Великому белому безмолвию моей земли, которая умеет платить. Вы прочтете и увидите: раз она вами завладела, это уже навсегда... Я бы хотел...

Впервые, за все время разговора мой собеседник остановился, но после мгновенного колебания решил продолжить:

– Я бы хотел, чтобы вы это напечатали... если это, конечно, можно... где-нибудь. Я об этом не узнаю, но тем не менее мне будет приятно. Если же вы найдете эту вещь малоподходящей, то в таком случае прошу вас забыть о моей затее и бросить в огонь эти никому не нужные листки.

Человек встал, взял свою рукопись, положил ее на стол, наклонился, чтобы поднять свою шляпу, и добавил:

– Имею честь кланяться...

Дойдя до двери, он повернулся и, отойдя от нее шага на три, сказал:

– Кстати, если вещь появится, не откажите мне еще в одной услуге... Я хотел бы, чтобы вы поместили на первой ее странице одно имя... Темпест... Кто это? Конечно, моя собака! Неужели вы можете допустить, что я стал бы посвящать свою книжку человеку!

Он пожал плечами и вышел.

Не во сне ли я видел всю эту странную сцену? Впрочем, рукопись здесь... Почерк не особенно четкий, нервный, почти неразборчивый. К черту этого идиота... Пусть не воображает, что я стану расшифровывать его каракули... ко всем чертям и его, и рукопись... И тем не менее я ее прочел, и в том виде, как я ее прочел, я предлагаю ее публике и умоляю читателей верить, что я не переставил в ней ни одной запятой, ограничившись только просмотром корректуры...

## Глава II

### Три встречи с Джесси Марлоу

Молодой человек, с которым я встречался в баре на Монтгомери-стрит в Сан-Франциско, уверял меня, что на одном из островов архипелага Королевы Шарлотты обнаружены золотые россыпи. Однако, добавлял он конфиденциальным тоном, это хранится в тайне во избежание страшного наплыва искателей.

Расплатившись за эти сведения бесчисленными стаканами виски, я упаковал свой скудный багаж, что отняло очень мало времени, и собрался в дорогу, в северные края. Путь этот я совершил со многими остановками. Разве не было зашито у меня в поясе несколько сотен долларов, заработанных недалеко от Аллегана в Неваде?

Несколько дней я прошлялся в Портленде, городе роз. Затем в одно прекрасное утро я сел на поезд, направлявшийся в Сиэтл, где остановился на двое суток, чтобы обменяться сердечным рукопожатием с моим преданным другом Марселлой Ж., в душе которой столько же поэзии, сколько в цветущем кусте шиповника.

Кокетливая вилла в Сиэтле, где приютилось французское консульство. Перед дверью посреди небольшого сада высокий флашток с трехцветным флагом на верхушке. Внутри помещения две маленькие гостиные, куда тонкий вкус хозяйки сумел перебросить всю грацию далекой родины. На стенах несколько тонко подобранных гравюр; на шифоньерке в стиле Людовика XIV выделяется фиолетовым пятном «Меркюр де Франс», а рядом с ним Фаррер со своими «Подружками». Рассеянно раскрываю книгу; мысли мои блуждают. Вдруг слышу за собой голос:

– Вы, вероятно, любите Фаррера?

– Очень.

Хозяйка смотрит на меня и говорит на английский лад:

– Я так и думала.

– Я люблю моряков. Меня привлекает все, что связано с морем. Мне так хотелось стать моряком.

– Это сожаление?

– Да, величайшее сожаление всей моей жизни.

– Вот так любовь!

– Да, это любовь, и чтобы удовлетворить ее, я обошел препятствие: раз не удалось сделаться матросом, я стал путешественником!

– Мне остается ценить это ваше призвание, которое позволяет нам видеть вас у себя. Ведь так редко бывает, чтобы к нам приехал кто-нибудь из Франции.

– Не рассчитывайте на меня, чтобы узнать о последних модах или последней сплетне. Если хотите, то я действительно приехал из Франции, но сделав предварительно недурной крюк через Техас, Аризону и Калифорнию. Завтра я уезжаю на Аляску.

После этого госпожа Ж. начинает говорить со мной о Париже, о том Париже, который она любит, о Париже литературном и театральном. Я вслушиваюсь в музыку ее голоса. Мой отвыкший слух поражают имена Демакс, Лавальер, Барте, Робинн. Все это точно нежное мурлыканье, которое убаюкивает мою душу, успокаивает и усыпляет ее...

Моя мысль останавливается то там, то здесь на каком-нибудь названии театра или заглавии книги. Это разворачивающийся фильм, и я ясно вижу в нем картины и сцены... Но где же в таком случае знойная Аризона, которую я только что изъездил верхом вдоль и поперек, индейцы опи, такие гостеприимные и первобытные, Калифорния и мои добрые товарищи, работавшие со мной на приисках?

Кто же на самом деле переживает действительность? Она или я?

Но подходит консул и, улыбаясь, говорит:

– Не хотите ли коктейль, мой дорогой?

Коктейль? Вот те на! В таком случае я действительно нахожусь в Сиэтле, штат Вашингтон, у черта на куличках, на берегу Тихого океана!

Я отправился морем в Викторию, а из Виктории в Ванкувер, где мне посчастливилось сесть в самый день моего приезда на старый грузовой пароход «Авраам Линкольн», совершавший почтовые рейсы в архипелаге скалистых островов.

Переезд? Несколько бурный, как это бывает в этих местах, где приходится плавать по узким проливам, где ветер и море бушуют, гудя, как орган. Кое-как, и скорее плохо, чем хорошо, мы прошли Георгиевский пролив вдоль острова Ванкувера. Качать стало основательно, когда, миновав острова Скотта, мы вступили в воды Тихого океана, но «Авраам Линкольн», отплевываясь, отдуваясь и дребезжа, как лом железа на возу, огибает наконец оконечность мыса Сен-Джеймс и обходит остров Прево, оставляя слева фарватер Хустон-Стюарт и бухту Скинкетл. Нас еще изрядно потрепало в проливе Хуан-Перес, где, словно четки, рассыпаны скалистые, неприступные острова.

В Лайелле мы сбрасываем несколько мешков почты и после захода в Скеданс огибаем остров Луизы. Наконец я схожу в Кэмшове, расположенном на большом острове Морсби, в то время как мой старый «Авраам Линкольн» продолжает свой путь к Скайдгету, что на острове Грэхем, самом значительном из всех островов архипелага Королевы Шарлотты.

В Кэмшове золота оказалось не больше чем под копытом у осла. Несколько дней я прожил на свои сбережения и, пожалуй, умер бы со скуки, если бы не поступил на фабрику рыбных консервов.

Прослужил я там двенадцать дней. Один туземец из племени гаида, направлявшийся в Скайдгет, предложил мне ехать с ним. По рукам! Итак, в дорогу – на север! И вот я уже механиком на заводе, где топят тюлений жир. Я снова заработал несколько долларов, которые мне посчастливилось удвоить в покер, и опять берусь за свой посох, хотя это выражение и не особенно удачно, когда приходится перескакивать с грузового парохода на почтовый и с почтового – на пассажирский.

Гораздо легче попасть на остров Грэхем, чем выбраться оттуда. Все эти «Авраамы Линкольны» едва обеспечивают почтовую связь с берегом, но мне удалось переправиться через пролив Гекаты с попутчиками, ехавшими в Порт-Эссингтон в Британской Колумбии, чтобы пополнить свои запасы виски: операция, как известно, наисущественнейшей важности.

– Счастливо оставаться, товарищ!

И вот я один на деревянной пристани Порт-Эссингтона, в то время как мои друзья, налегая на весла, уходят в открытое море.

Твердо решено: сажусь на первое попавшееся судно, будь то грузовое, паровое или парусное, какой бы курс оно ни держало.

Семнадцать дней спустя «Принцесса София», принадлежащая Обществу каботажного плавания в Британской Колумбии, бросила якорь в Принц-Руперте, лежащем на правом берегу Скины, по ту сторону Порт-Эссингтона.

Судьба толкает меня на север. В путь-дорогу, стало быть, в страну безмолвия, страну таинственного, страну снегов и золота. Разве там не «pay-dirt» – «оплачивающая земля»? Но что именно оплачивающая? Волю? Настойчивость? И чем оплачивающая? Золотом, вырванным из твердых скал? Строгой красотой пейзажей или вызывающим восхищение северным сиянием?

Золотом или смертью? Тем или другим, а чаще всего тем и другим. Покоренное золото струится меж пальцев, как вода горного потока. Тихая смерть укладывает вас на белый саван полярных снегов. Тело погружается и исчезает в яме, а снег все давит, давит, давит. Снег превращается в лед. Следы саней остаются на нем, а жизнь неудержимо уходит вперед. Под сне-

гом тоже лежат мертвые, а над ними в необъятной, беззвездной ночи, убаюкивая их треском ветвей, поет свою песню Великий Север, между тем как там, где-то внизу, режут обезумевшие от страшного хохота волков карибу<sup>5</sup>, которые внезапно по ветру почуяли присутствие врага.

Я погружен в эти мысли, сидя на своем багаже на палубе «Принцессы Софии», уткнувшись локтями в колени и обхватив голову руками. Винт парохода мерно ударяет по воде. Серый туман заволакивает берег, близость которого уже чувствуется. Пароход идет вдоль длинного лабиринта островов и извилистой линии берега. С правой стороны заснул, весь покрытый елями, остров Принца Уэльского, а с левой – ночь опускается на Кетчикон, красные и зеленые огни которого с трудом прорезают гущу тумана.

«Принцесса София». «Принцесса Мудрость». Мудрость ли это? Не безумие ли идти по этой дороге? Винт бьется, как сердце: «Флюк-флюк-флюк-флюк». Да? Нет? Новая жизнь открывается передо мной, и я вспоминаю стих Теренция: «День, открывший тебе новую жизнь, ищет в тебе и нового человека».

– Вы напрасно здесь сидите, молодой человек, – туман опасен для здоровья.

Я поднимаю глаза и встречаю взгляд женщины в широком сером пальто.

Она стоит, твердо упершись ногами, держа руки в карманах пальто с воротником, закрывающим шею, подбородок и рот; мягкая шляпа надвинута на лоб почти до самых глаз.

– Я – Джесси Марлоу, а вы?

– Я – Фредди.

– Фредди кто?

– Фредди, и больше ничего, просто Фредди.

– А!

Женщина, помолчав некоторое время, добавляет:

– Вам не следовало бы сидеть неподвижно, это всегда вредно в этих местах. Лучше пройдитесь со мной.

И вот мы оба шагаем, как два старых товарища, по спардеку парохода.

– Вы здесь впервые?

– Да, а вы?

– Я – старая юконка. Эту дорогу я проделала уже пять раз.

– А едете вы...

– В Доусон, к мужу.

– А, вы замужем!

Тон, которым я произнес эти слова, заставил Джесси расхохотаться звонким смехом.

– Да, я жена Гарри Марлоу, сержанта Конной полиции.

Канадская Конная полиция! Блестящая организация, несравненная, если бы, конечно, не существовало Иностранного легиона. В Конную полицию зачисляются, как и в легион, только из прихоти или из любви к приключениям.

Великолепные экземпляры человеческой породы, преисполненные безумной отваги, – единственные представители британской власти от Гудзона до Аляски, во всю безмолвную ширь Великого Севера!..

Впоследствии, в течение моих полярных скитаний, я встречал их сотнями, то группами, то в одиночку, и всегда находил в них качества, создающие сильного человека: великодушие, прямоу, доброту и отвагу. И, как ни странно, сознание, что она, эта Джесси, принадлежит другому, хотя бы и сержанту Конной полиции, как-то больно ущемило меня.

Откуда это? И чего только не лезет мне в голову! Джесси Марлоу, о существовании которой я пятнадцать минут тому назад и не подозревал... а вот... Зато теперь я ее знаю. Вот и все!

---

<sup>5</sup> Северные олени.

Пароход сильно качает – прекрасный предлог, чтобы взять под руку мою спутницу, которая, впрочем, нисколько не сопротивляется.

Я чувствую сквозь пальто упругость тела и твердость мускулов. Мой друг Джесси Марлоу – гибкая и крепкая женщина.

Все сильнее я сжимаю ей руку.

– Спустимся на вторую палубу, там среди чечако есть прелюбопытные типы.

На юконском диалекте чечако обозначает всех вновь приезжающих на рудники для работы новичков: искателей золота и счастья.

Спускаемся вниз. Там в невероятном хаосе навалены динамо-машины, мешки, бочки, ящики, снасти, железные болванки, груда кирок и лопат, а кое-где в каком-нибудь углу копошатся живые существа, освещенные желтым светом масляной лампы, раскачиваемой морским волнением.

Ближе к середине более просторно. Сидя на опрокинутых ведрах, несколько человек играют в карты за импровизированным столом. Во время игры все молчат; жажда наживы наложила уже свою печать на все лица. Ее можно узнать по характерному нахмуриванию бровей и легкому дрожанию пальцев, сжимающих засаленные карты.

Человеческий порок здесь весь как на ладони, обнаженный и бесстыдный. Он зияет, как рана...

Я оборачиваюсь. Не знаю почему, но мне показалось, что в глазах моей спутницы какой-то хищный блеск. О, только блеск, быстро угасший. Мгновенный трепет ноздрей... О, еле уловимый!

Но я, несомненно, ошибся, ибо Джесси Марлоу говорит с равнодушным видом:

– Здесь можно задохнуться. Страшно накурено! Пойдемте отсюда, дорогой.

Утром я поднимаюсь на палубу. Джесси уже там, облокотившись о перила. Она угадала мое присутствие и оборачивается ко мне. На лице ее тревога. Она обращается ко мне и без всяких вступлений произносит:

– О, посмотрите, дорогой мой мальчик.

Я вглядываюсь. В синеве тумана показывается один из самых фантастических пейзажей.

Берег уже близок, и мы лавируем между островами Элтслин и Принца Уэльского: это страшные громады утесов, длинные цепи трахитовых скал, гигантские базальтовые дороги. Здесь перед нами наглядное подтверждение великих геологических законов, оставляющих далеко за собой жалкое поэтическое воображение эллинов и их титанов, нагромоздивших Пелион на Оссу, – детская забава по сравнению с той хаотической картиной, которая разворачивается перед нами!

Чтобы противостоять нахлынувшему морю, Земля, в сверхъестественном усилии, скорчила свое тело и выбросила из него вулканические скалы, которые лежат здесь нетронутые, обнажая первобытный гранит. Ровные пласты, острые разрывы, резкие выступы, и горы, высящиеся на сотни и сотни футов, как в первый день создания мира, когда они выступили из недр земли, чтобы сказать Океану: «Стой! Дальше ты не пойдешь!».

Джесси Марлоу схватила меня за руку.

Солнце вдруг прорывает пелену тумана, раздирает ее на куски и отбрасывает куда-то вдаль. Лучи его играют золотом на скалах цвета охры и жженой сиенны; здесь чувствуется величественная гармония, и ногти Джесси все сильнее впиваются в мою ладонь. А сама она трясется как в лихорадке. Но тотчас же спохватывается, шепчет неизбежное «простите» и, чтобы наказать меня за то, что я заметил ее волнение перед лицом величаво-прекрасной картины, внезапно покидает меня.

Свисток. Страшный крик. Топот, беготня. Снова крики... Я выхожу из своей каюты, чтобы узнать, что случилось. Несколько человек поднимаются из машинного отделения. Крики переходят в длинные хриплые стоны. Спрашиваю, в чем дело. Вырвавшимся паром жестоко

обварило кочегара. Вид у него ужасный. В зияющих впадинах глаз – две кровавые дыры. Рот, весь красный и черный, скривился в дьявольскую гримасу. Все тело – сплошная рана, на которой все еще держатся прилипшие клочья одежды.

Пассажиры столпились тут же, без толку. Капитан задает вопрос:

– Не найдется ли среди вас врача?

Эмигранты смотрят друг на друга, но все молчат.

Капитан продолжает настаивать:

– Не дадите же вы ему умереть в таком виде...

Тогда я вспоминаю, что много лет назад готовился к экзамену в морское медицинское училище в Бордо. Все расступились предо мной. Я наклоняюсь над раненым. Не нужно много смыслить в медицине, чтобы понять, что человек погиб. Но надо облегчить его страдания. В первую очередь нужно очистить раны от прилипшего белья. Я прошу:

– Ножницы или нож...

Резкое движение, голос отвечает:

– Вот...

Это Джесси Марлоу протягивает мне маленький стальной кинжал, который она носит в кожаных ножнах под своим плащом. Тут же она предлагает мне помочь, и не успеваю я согласиться, как она опускается возле меня и опытной рукой сразу разрезает материю.

Чудовищное зрелище: все тело обожжено, распухло, в пузырях, из которых, когда они лопаются, брызжут тонкие струйки крови. Вены и артерии обнажены и тоже лопаются одна за другой. Это какой-то ком красных и синих жилок, на котором сгустившаяся кровь образует кое-где темно-алые пятна.

Наши руки встретились... Моя слегка дрожит. Рука Джесси гибка и холодна. Я смотрю на молодую женщину и вновь замечаю в ее глазах тот же мгновенный блеск, что и накануне. Это тело, извивающееся в муках ада, вызывает радость в глазах этой женщины. Я мог бы поклясться в этом.

Я отдаю короткое распоряжение. С бесконечными предосторожностями поднимают тело бедняги, уносят его, а в это время Джесси Марлоу шепчет вполголоса, словно про себя:

– Какая великолепная картина – эти яркие краски!..

Близится вечер. Пароход тихо скользит по узким водам пролива Врангеля. Тут и там, словно четки, рассыпаны буи, указывающие судну подводные скалы, которые почти высовываются на поверхность воды. Иногда можно различить рифы, напоминающие насторожившихся хищных зверей. Они пытаются схватить легкую добычу, но мы уже проскочили, и пена от винта парохода скрывает их под собой.

Неизвестно каким образом выросшие здесь ели наклоняются к нам и почти касаются нас. Солнце шлет свои последние лучи на высокие горные массивы, а за нами уже стелется ночная тьма. Базальтовая стена вдруг расступается, и показывается огромная ледяная гора, отвесно обрывающаяся в море. С ее девственно чистого покрова ветер сдувает только что выпавший снег, и солнце переливается в ней фиолетовыми, оранжевыми и голубыми огнями.

Пролетает птица, и розовые крылья ее долго быются в прощальных лучах солнца.

Откуда-то изнутри корабля доносится предсмертное хрипение страдальца, медленно расстающегося с жизнью.

Утром мы покидаем Жюно, где простояли всю ночь. Мы идем фарватером Гастино. Столица Аляски окутана туманом, и только Капитолий ее, прислонившись к горе, выделяется в виде молочного пятна.

Чей-то голос говорит возле меня:

– А вы не сходили на берег, доктор?

Это капитан приветствует меня таким образом. Со вчерашнего дня я повысился в чине.

– Нет, капитан.



– Вы, право, ничего не потеряли. Не стоит забираться сюда, чтобы снова увидеть заводы, автомобили и кинематографы. Уж лучше в таком случае не выезжать из Сиэтла или Ванкувера.

Капитан выпускает несколько клубов дыма из своей коротенькой глиняной трубки, стоит несколько секунд, облокотившись возле меня, а потом удаляется своей характерной морской походкой, такой упругой и в то же время твердой. Пройдя несколько шагов, он оборачивается и говорит мне:

– Кстати, знаете, тот человек умер этой ночью.

Он сплевывает за борт желтоватую слюну и добавляет:

– Джесси Марлоу сошла в Жюно.

– В Жюно? Но ведь она намеревалась, кажется, высадиться в Скагуэе, чтобы оттуда отправиться дальше в Доусон.

– Так-то так, но она раздумала.

И он уходит, пожимая плечами, процедив сквозь зубы:

– Ведь на то она и женщина!

Невидимая рука сжимает мне горло. Человек умер. Джесси Марлоу нет... Грусть поднимается во мне, одолевает меня, и я затрудняюсь ответить на вопрос: чем, главным образом, вызвано это чувство, смертью ли человека или отъездом женщины?

Термометр в течение нескольких часов понизился на 20 градусов, и сразу наступила зима. Река, катившая еще вчера свои мрачные волны, неся жизнь «оплачивающей земле», сегодня уже застыла, угрюмая и молчаливая. На восемь месяцев Юкон становится узником льдов – мятежное чудовище сковано. Он сжал в своих ледяных тисках плоскодонные баржи. Также был застигнут врасплох и большой колесный пароход. На восемь месяцев Доусон засыпан снегом.

Спускается великая полярная тьма. Ночь пожрала день. И в ожидании реванша, когда день, в свою очередь, пожрет ночь, следует запастись мудростью и философией.

Новизна пейзажа привлекает меня. Я устроился за чертой города на возвышенности, в хижине из сосновых кругляков, похожей скорее на насест, чем на человеческое жилье. Город и река образуют там внизу снежную симфонию, и только ели местами нарушают ее, выделяясь своим темно-зеленым покровом. Напротив тянется горный кряж, последние отроги Скалистых гор, вымазанные в охру с редкими синевато-белыми пятнами.

Я еще успею вдоволь налюбоваться всей этой панорамой, и весь мой первый день зимовки уходит на хозяйственные заботы. Осматриваю сапоги, прибываю новый каблук, пришиваю подошву. Потом пришиваю лисий мех к воротнику моей кожаной куртки. А пока я этим занят, открывается дверь и ко мне входит Линн, мой друг Линн.

Линн – индеец племени койокук, с плоским лицом. Несмотря на то что он жил среди цивилизованных людей, он сохранил привычку своих предков размалевывать себе щеки. На нем широкий клетчатый плед, когда-то принадлежавший, вероятно, какой-нибудь странствующей мисс. Поясом ему служит длинный и узкий ремень из буйволовой кожи. Мокасины на нем из тюленьей кожи, обшитые по краям мехом росوماхи; шнурки от них волочатся по полу. Руки до самых плеч в длинных кожаных рукавицах на меху, стянутых у локтей, точь-в-точь как руки у марионетки.

Мой друг Линн строго выдержал бы местный колорит, если бы не ужасный котелок, который он гордо напялил на себя взамен национального головного убора. Котелок этот для Линна – признак утонченнейшей цивилизации. Есть еще одна уступка, которую индеец делает нашему Старому Свету. Он заражен отвратительной привычкой жевать резинку. Сильно пожевав ее и заложив шарик за левую щеку, точно жевательный табак, Линн приветствует меня по койокукскому обычаю, спрашивает о моем здоровье и сообщает, что в самом центре Доусона, возле моста через реку Клондайк, там, где кончается Фронт-стрит, найден труп человека.

– Принимая во внимание резкий скачок термометра вниз, в этом нет ничего удивительного. Наверное, какой-нибудь пьяница, который, возвращаясь из кабака или притона, свалился и замерз.

Линн отрицательно качает головой в знак скептического отношения к высказанному мною предположению. Он усердно жуёт свою резинку, а затем гортанным английским говором добавляет:

– Нет-нет, убитый – сержант Канадской конной полиции. Он погиб не от мороза, а от раны в шею...

И Линн выводит заключение:

– Это подняло в городе порядочную шумиху.

Потом, заняв у меня две горсточку чаю, индеец выходит, волоча по снегу свои мокасины с болтающимися шнурками.

Сержант Конной полиции! Вот так номер, черт возьми! Не то что набившие оскомину ежедневные драки рудокопов.

Несмотря на то что город позабыл, как какой-то кошмар, далекие времена легендарных драк, когда с рассветом на улицах находили по несколько шалопаев, более или менее продырявленных пулями, все же иногда случается, что и теперь еще темный элемент города сводит свои счета при помощи браунинга. Но сержант Конной полиции! Я свистнул, что заставило мою собаку насторожить уши.

– Темпест, мой друг, как ты полагаешь, не пойти ли нам за новостями? Ведь не каждый же день можно наблюдать убитого – да как ловко! – сержанта Конной полиции. К тому же это внесет некоторое разнообразие в монотонность нынешнего дня, который твердо решил, по видимому, никогда не кончаться. Кроме того, представляется единственный случай показать наш новый меховой воротник.

Я плотно надвигаю на лоб котиковую шапку и надеваю куртку с меховым воротником. Темпест лает от радости, и вскоре, как два школьника, мы уже мчимся по снегу. По дороге попадается крутой спуск, и мы скатываемся по нему кубарем.

– Ну, брат, тихо! Будем солидны.

Я отряхиваю снег отворотом рукава и вхожу в город с Темпестом, который следует по моим пятам.

Перед бараками – так называются в Доусоне казармы Конной полиции – стоит толпа, которая жестикулирует, спорит и высказывает разные предположения. В качестве знатоков юконцы делают оценку «чистой работе», отправившей сержанта на тот свет.

Один из товарищей предлагает мне войти вместе с ним, так как он знает человека, который может нам все рассказать.

Мы проникаем без особых затруднений во двор барачных, где заключенные, одетые в традиционные черно-желтые костюмы, прочищают дорожки в обледевшем снегу.

Мы нашли интересовавшего нас субъекта в его комнате, занятого снаряжением своих лыж. И в самом деле, человек десять готовились в путь за город на поиски убийцы, пока следствие ведется в городе.

Подробности? Он знает их не больше, чем мы сами. Сержант был найден сегодня утром совершенно замерзшим в том самом месте, о котором упоминал Линн.

Взяв лыжи под руку, стражник предлагает нам пойти посмотреть на убитого.

В низком помещении на походной кровати лежит сержант. Караул из нескольких товарищей покурирует папиросы.

Голова покойника слегка наклонена влево, и под самым ухом виднеется рана, трехгранная, длиной не более одного сантиметра, но из которой все-таки вылетела жизнь. Что и говорить, работа – чистая.

– Это единственная улика, какую мы имеем, – разъясняет другой сержант, – но этого достаточно, чтобы обнаружить виновного.

– Бедный Гарри Марлоу! – говорит провожающий нас полисмен.

– Гарри Марлоу! Гарри Марлоу! Знакомое имя! Где же я его слышал?

Ах да, припоминаю... месяца четыре тому назад. Заботы об устройстве моего жилища заставили меня забыть об этой встрече.

В моих ушах раздается ясный голос, говоривший мне:

– Я жена Гарри Марлоу, сержанта Канадской конной полиции.

Джесси Марлоу, которая заняла мое воображение всего лишь на несколько часов и которой я с тех пор не встречал...

И, повторяя про себя только что слышанную фразу, я, в свою очередь, говорю, несколько видоизменяя ее:

– Бедная Джесси Марлоу!

Войдя в помещение казарм, я сперва увидел только лежавший труп и дежуривших у него товарищей.

Теперь мой взор направлен в глубину помещения, где я замечаю женщину, прислонившуюся спиной к деревянной перегородке, со сложенными на груди руками. Вид у нее враждебный и угрюмый.

– Джесси Марлоу, – шепчет мне мой товарищ.

Клянусь богом, я сразу же узнал ее. Достаточно один раз увидеть Джесси Марлоу, чтобы больше никогда не забыть ее. Глаза ее уставились в одну точку, зубы стиснуты... Безграничное горе убило ее. Ниобея при ниспосланном ей роком испытании вряд ли была прекраснее ее...

Бедная Джесси Марлоу! Я искренне жалею ее, мне так хотелось бы подойти к ней и произнести не обычные слова соболезнования, а нежные, задушевные слова, или, еще лучше, ничего ей не говорить, а просто взять ее за руку и плакать, долго плакать вместе с ней. Но я не решаюсь. Люди, окружающие нас, стесняют меня. К тому же и вид у Джесси далеко не ободряющий. Притаившись, как дикий зверь, она стоит в своем углу, безучастная ко всему, что вне ее горя.

О чем она думает? Какие картины проносятся перед ней? Какие воспоминания? Потерянное счастье? Быть может, разрушенный очаг? Прошлое или будущее?

Прошлое? Бесконечные скитания верхом на лошади по безграничным равнинам, уединение, сладкое уединение вдвоем в течение долгих полярных ночей? Избегнутые вдвоем опасности? Первое пожатие руки?

Будущее? Неуверенность, насущные заботы, возвращение домой, где все твердит об отсутствии любимого существа, – его стул, его стакан, его нож, его ружье на стене, отныне ненужное?

О чем мечтает она? Смотрят ли ее глаза, ничего не видя, или они прикованы к далекой точке, к несбыточной мечте?

Почему мою голову осенила нелепая мысль, что расширенные зрачки ее, точно загипнотизированные, видят в комнате только трехгранную маленькую рану на шее того, кто был ее мужем?

– Темпест, старый товарищ, что ты крутишься, как собака богача в общественном саду? Сиди спокойно, черт побери! Используй лучше свой отдых, отдохни.

Мой призыв к благоразумию, как, впрочем, и все призывы к благоразумию, напрасен.

Темпест поднимается, уходит, приходит и направляется к своим товарищам, которые грызут своими крепкими челюстями брошенные им куски мороженой тюленьины. Странное явление – Темпест, мой лидер<sup>6</sup>, не пытается отнять у них добычу... Он вертится, волнуется,

---

<sup>6</sup> Вожак в упряжке.

приподнимает морду, точно вдыхая воздух, настораживает попеременно то левое ухо, то правое, а то и оба вместе, затем возвращается ко мне и, сев на задние лапы, воет, открыв пасть.

Я вытираю куском хлеба мою алюминиевую тарелку.

– Вот, возьми, – говорю я ему, протягивая руку.

Темпест отворачивает голову – он отказывается от моего угощения и снова воет. Вдруг он бросается к своим товарищам, кончающим еду, и кусает их за лапы. В страхе животные разбегаются. Он призывает их голосом, четким, как команда. Послушные собаки сразу сбегаются. Он становится головным, и мой батальон пускается в путь. Короткий лай, и вся команда останавливается перед нагруженными санями, оставленными мною час тому назад в сосновой рощице, состоящей из жалких низкорослых деревьев, затерянных в полярной пустыне.

Темпест покидает послушных собак и приближается ко мне. На этот раз он не лает. Он смотрит на меня. Я читаю в его глазах, как в книге, а глаза его мне говорят: «Ну, чего же ты ждешь? Разве ты не видишь, что мы готовы? Пора в путь, торопись!..»

– Темпест, старина, ты с ума спятил. Ведь мы только что приехали, а ты уже хочешь ехать дальше. Сани основательно перегружены, переход был тяжелый, и братья твои устали. Не все обладают такими стальными лапами, как ты. За эти восемь дней, что мы в пути, у меня самого уже болят ребра, а здесь тепло и ветер не дует. Терпение! Иногда время терпит, а иногда – нет, как говорят в Лангедоке, но тебе непонятен язык моих предков, а потому оставь меня в покое.

Речь эта, сопровождаемая легким шлепком, не удовлетворяет моего друга. Тем не менее он чувствителен к тому, что принимает за ласку. Он подходит ко мне и бодает меня, словно баран, своей крепкой головой...

«Ничего не поделаешь, мне приходится тебе повиноваться, но ты, право, невыносим!»

Порывистым жестом я закрываю свой нож, который при этом щелкает. Он понял сигнал. Он гордится, что заставил меня послушаться его. Он прыгает и лает, закрутив хвост, как поросенок... Проклинаю свое малодушие, я прячу тарелку, вымыв ее предварительно горстью снега, и увязываю дорожный мешок.

– Итак, в дорогу, раз ты того хочешь. Ты – повелитель моей жизни, иди вперед, я следую за тобой...

Пока я запрягаю его товарищей, Темпест сидит возле меня, следя за малейшим моим движением. Но вот последний ремень стянут, и он сам становится во главе. Как только он чувствует, что упряжь его в порядке, он лаем подает сигнал к отъезду и стрелой бросается бежать. Я едва успеваю вскочить в сани и с трудом удерживаюсь на ногах, не выпуская вожжей из рук. В нем сидит какой-то дьявол; он напрягает все свои мускулы, лаем приглашая к этому и других собак, а те, заражаясь его усердием, тоже стараются что есть сил. Если одна из них ленится или отстает, то соседка кусает ее за ногу.

Скорость опьяняет их... Никогда еще моя упряжка не развивала такого хода. Напрасно я пытаюсь умерить ее пыл, но попробуйте-ка заставить этих лабрадоров и хрипунов<sup>7</sup> повиноваться, когда они мчатся как бешеные за таким вожаком-безумцем, как Темпест.

Я больше не стесняю их бега и отпускаю вожжи. Собаки, почувствовав это, удваивают свою прыть. Мы берем головокружительные виражи. Мои собаки запряжены по-индейски, вее-ром, который смыкается сам собой. Мы несемся по самому краю темных обрывов, задевая иногда ели, ветви которых хлещут меня по лицу.

– Эй, дьяволы, остановитесь!

Упряжка больше не слушается моего голоса. Собаки бегут, высунув языки, с раздутыми, словно мехи, боками за Темпестом, который все тянет, тянет, тянет...

У меня такое ощущение, что на первом же повороте мы разобьемся вдребезги. Однако ничего подобного не случается. Вираз взят умело, ловким загибом, и мы начинаем спускаться.

---

<sup>7</sup> Породы лаяк.

Наконец мы среди равнины...

И только тогда Темпест останавливается, твердо упершись ногами в снег, словно на нем одном держится весь груз. К счастью, задержались и остальные собаки. Сам я падаю на колени и все-таки их больно ушибаю. Сани скользят с разбегу. Три собаки с воем катятся в снег... Я бросаюсь к ним. Поверхностный осмотр. Переломов нет. Я вскакиваю на сиденье.

– Ну, братцы, в дорогу.

Но ни одна из них не двигается. Я схожу и понукаю их возгласом:

– Ну-ну, детки, вперед, вперед!

Все напрасно. Вероятно, для того чтобы разозлить меня, Темпест ложится на бок. Я берусь за кнут. Кнут щелкает, я натягиваю ремни... Собаки – ни с места.

– Надеюсь, вы не бросите меня тут на произвол судьбы?

Тогда Темпест поднимается и передними лапами роет снег, разбрасывая его во все стороны.

– Ты хочешь передохнуть? Знаю, знаю, везли вы меня необычным ходом, но цель все же еще впереди.

Вместо всякого ответа Темпест роет, роет, роет с остервенением. Потеряв надежду, я распрягаю своих собак. Почуввав свободу, они немедленно начинают рыть себе норы, точно желая залечь. Снег быстро расчищен, углубление достаточно широко, и животные укладываются. Темпест приготовил свое логовище раньше других, но тотчас же выскочил из него. Его большие добрые глаза глядят на меня и говорят:

– Как, разве ты не ложишься с нами?.. Скорее следуй нашему примеру...

Он подходит к своей норе, возвращается ко мне и с этого момента не спускает с меня глаз.

Чтобы последовать его примеру, я, прибрав сани и приготовив инструменты, начинаю строить себе убежище на ночь среди этой необъятной равнины, где ничто не растет и ничто не живет...

Я торопливо складываю хижину из снега, нечто вроде эскимосского иглу. Немного воды, вылитой на снежные глыбы, скрепляет их лучше всякого цемента. Внизу я оставляю маленькое отверстие, через которое нужно пролезать ползком. Таким путем можно проникнуть в круглое помещение диаметром в пятнадцать футов... Я бросаю на утрамбованный пол две тюленьи шкуры и одеяло, устраиваю себе кладовку для припасов и прилаживаю небольшую полку для самых нужных вещей. Сводом служит четырехугольная глыба льда. Я подвешиваю к ней мою лампу самого примитивного вида, в которой горит плавающий в ворвани фитиль... От его запаха меня всегда немного тошнит. Мои нервы культурного человека еще слишком чувствительны...

Выхожу. Мои собаки исчезли под снегом. Один лишь Темпест ждет меня у порога. Глаза его блестят от удовлетворения. Он весело виляет хвостом, и я похлопываю его по спине. Вполне счастливый, он исчезает в своей снежной берлоге. А когда я, немного удивленный, подхожу к своей хижине, то прямо перед собой, над горой, с которой мы спускались таким бешеным аллюром, я замечаю снежный вихрь, приближающийся к нам с быстротой скачущей лошади.

– Ого! Сейчас начнется здоровый буран...

И сразу мне стали понятны поспешность моих собак и ум Темпеста, почуввавшего приближение урагана. Он знал, что нам не миновать гибели, если ураган застигнет нас на горе. Животное предугадало это своим безошибочным инстинктом. Оно попросту спасло мне жизнь...

Ударами кулака по хижине я испытываю ее прочность и устойчивость. Она тверда, как гранит. Пусть начнется сейчас буря – я смело встречу ее. И преисполненный философских мыслей о животных вообще и Темпесте в частности я на четвереньках вползаю в свое убежище.

Ураган налетает и мчится дальше с шумом и грохотом, точно галопом несется табун сказочных чудовищ. Вот это буран так буран, черт бы его побрал! Снег падает густой, мерзлый, и вихрь крутит его столбом. Вряд ли сейчас было бы сладко на следу в горах.

Не без эгоизма наслаждаюсь я удовольствием находиться в безопасности... Я бездельничая, растянувшись на шкурах, заложив руки под голову и протянув ноги к огню, на котором напевает медный чайник.

На минуту мои мысли заняты мокасинами, от которых идет пар. Затем они переходят к тусклому огоньку лампы, похожему на чей-то желтенький глазок. Я чувствую в себе приток сил, я чувствую себя здоровым, я счастлив...

Пурга, не встречая на своем пути никаких преград, мчится прямо по равнине в каком-то иступлении, точно бешеное животное.

Запах кофе уже дает о себе знать; он медленно поднимается и благоуханием разливается по всему моему помещению. Ноздри мои дрожат, веки полужакрыты; сквозь ресницы я замечаю еще совсем маленькую светящуюся точку, прорезающую ночную тьму. Тихо опускается занавес, и я погружаюсь в царство сновидений.

И взлетает моя легкая мечта, покидает свою тленную оболочку, кружится по комнате, потом пляшет перед бледным огоньком. Она как бы летит вокруг пламени, и вскоре пламя увлекает ее, и она сливается с ним...

Но вот пламя покинуло примитивную лампу. Оно, в свою очередь, бродит то там, то здесь, дальше, ближе, вокруг меня... Я хочу схватить его, но какая-то тяжесть давит меня и приковывает к месту. Искра в моих глазах меркнет... Я слеп и тем не менее вижу во внутренней ночи моей... вижу какую-то яркую звезду. Она вдруг исчезает... Ночь...

Бесконечная декабрьская ночь, ледяная и голубая... Но нет, вот она снова! Она вновь оживляет душу моей лампы. Лампы? Нет, лампы в храме... Она сияет пышным блеском металлов, окруженная чистым золотом и драгоценными геммами. Это суровая душа ислама, пылающая в святилище Мулай Идриссе... ну да, Мулай Идриссе в Феце! Вот и рынок, и улица Шеммаинов, где стоят торговцы финиками, винными ягодами, восковыми свечами и пирожными, торговцы серьезные и спокойные, которые, сидя на корточках, ждут покупателя, перебирая однообразными движениями свои четки. Но нет, это светильник Юлиана... Юлиана, бодрствующего в своем дворце в Лютеции и ищущего путей, ведущих к Истине.

Все еще ночь. Темные проходы, куда углубляешься с ужасным ощущением, что они все более и более суживаются и что потолок спускается все ниже и ниже. И вот опять появляется огонек на шляпах рудокопов... Люди изнывают в каторжном труде, чтобы вырвать у земли черный камень, в котором кроется источник Огня. Да нет же, неужто я теряю рассудок? И уголь ли это? Это золото!.. Стены поднимаются на головокружительную высоту, слабый огонек превращается в страшный пылающий факел; свод, стены, пол – все из золота. Желтый металл освещает ночь своими лучами, это фейерверочное солнце, которое вращается, осыпая стены снопами искр; и я тоже весь из золота, золото течет, струится, пронзает, словно дождь, мое тело, течет в моих жилах и гонит кровь к сердцу... Я умру сейчас, тяжесть раздавит меня...

– Проклятое животное! Ты что тут делаешь?

Я приподнимаюсь и узнаю Темпеста:

– Темпест, мой друг, ты осел... да, осел...

Видано ли что-нибудь подобное? Этот нахал входит, не постучавшись, и всей своей тяжестью наваливается на меня, положив лапы мне на грудь. Вы, может быть, думаете, что ему стыдно? Вы мало знаете это животное. Он нагло счастлив, и весь его вид выдает его радость, что ему удалось разбудить меня...

– Ну, что же дальше? Не думаешь же ты, старина, выйти гулять в такую погоду! Иди хоть к черту, но только иди туда один, если уж это так тебе приспичило.

Я говорю это из принципа, ибо знаю себя и не сомневаюсь, что в конечном итоге поступлю так, как захочет этого Темпест. Темпест хочет, чтобы я вышел в буран и холод. Послушаемся его. Он хотя и собака, но советчик неплохой. Нужно всегда следовать советам собак, это не то что советы людей. Я снаряжаюсь и выхожу.

Буря как будто утихла. Темпест несется вперед, обнюхивая снег. Пробежав сотню шагов, он останавливается и тревожно лает. Я подбегаю и замечаю фигуру, которую падающий снег понемногу окутывает своим холодным покровом.

– Эй, дружище, вы выбрали себе плохую постель! Вы, знаете ли, из нее не вылезете...

Я с силой встряхиваю тело. Оно словно безжизненное тряпье. Ветер, утихший было несколько минут назад, снова воет пронзительно и резко. В тело мое впадают тысячи ледяных игл.

Надо принять какое-нибудь решение.

А ну-ка!

Я взваливаю товарища на плечи. Это, несомненно, какой-нибудь чечако. И впрямь нужно быть новичком, чтобы идти в горы в такую погоду.

Темпест следует за мной по пятам. Я вталкиваю свою ношу через отверстие в иглу, а потом влезаю туда сам. Темпест, нисколько не стесняясь, делает то же самое; это зрелище, по видимому, занимает его.

Незнакомец лежит лицом к земле. Я переворачиваю его, чтобы оказать необходимую помощь, и убеждаюсь, что этот несчастный лодырь – женщина, и что эта женщина – Джесси Марлоу.

Несколько глотков виски и в особенности хороший огонь, который я развел, приводят Джесси в сознание. Как истая юконка, она ничуть не поражена, увидев меня у своего изголовья. И не то еще увидишь в этой стране!..

– Это вы, Фредди?

– Да, это я.

Искренне, просто она протягивает мне руку.

– Спасибо.

И только всего.

Я знаю, как надо поступать в таких случаях, и бормочу сквозь зубы несколько невнятных слов, означающих приблизительно: «Пустяки, не стоит благодарности, вы поступили бы точно так же...» Здесь не принято задавать гостю вопросы. Ему оказывают гостеприимство, откуда бы он ни пришел и куда бы он ни направлялся.

Джесси чувствует себя не так уж плохо. Зачем настаивать? К тому же, как я вам уже говорил, это здесь не принято.

– Вы найдете чай в коробке, кофе в глиняном горшке, виски в бутылке, папиросы в моей кладовке. Вот вам тюленья шкура и одеяло, ложитесь и спите. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Фредди!

– Спокойной ночи!

После недолгого молчания я добавляю:

– А все-таки здесь лучше, чем там.

Джесси присела к огню и пристально смотрит на пламя. Молчание.

– Вы спите, Фредди?

– Нет, что-то не спится.

– Вы не болтливы...

– Возможно.

– Вы сердитесь на меня?

– Даже не подумал.



Ветер метет на дворе, образуя сугробы снега. Снова поднимается рев бури. Джесси Марлоу вздрагивает. Ее всю трясет. Она придвигается ко мне. Я хочу встать.

– Нет, не вставайте, вам так удобно. Прошу вас, не двигайтесь.

Она садится совсем близко возле меня, берет мою руку и шепотом произносит по слогам:

– Мне страшно-но... Да, мой друг, мне страшно, защитите меня... Мне пришлось только что пережить ужасные часы. Застигнутая бураном моя упряжка свалилась в овраг. Я спаслась каким-то чудом: сильным толчком меня выбросило на след, а мои бедные собаки с воем упали на острые скалы и разбились насмерть.

Дрожь снова охватывает ее... В глазах – весь ужас пережитого.

Она продолжает тем же тихим голосом, точно исповедуясь:

– Я боюсь не бури... а людей... Конная полиция преследует меня как дикого зверя. Да, меня, Джесси... Меня обвиняют в убийстве Марлоу... Вот уже три недели, как это длится. Ужасная пытка. Я скитаюсь с места на место. Не успею устроиться, как опять нужно идти дальше. Половина моих собак не выдержала такой гонки и подохла, другая половина – вы знаете где. Я лишилась всего: животных, саней, одежды и провизии. Ничего, ничего у меня уже нет – ни полена дров, ни унции золота... Уж лучше бы вы меня оставили в снегу. Это был сон, от которого не просыпаются... Со вчерашнего вечера они напали на мой след. Пришлось пробираться горными ущельями, чтобы выгадать расстояние. Это было безумие? О да, знаю, но я, право, согласилась бы даже пойти через плавающий лед. Я не хочу, чтобы меня повесили! Я боюсь смерти, боюсь ее, боюсь...

Женщина повисла у меня на шее. Глаза ее закатились, а лицо до того исказилось, что казалось какой-то маской. Потом она вдруг стала нежной, ласковой:

– Оставьте, оставьте меня у себя, не гоните меня... Клянусь вам, дорогой, что я не убивала Марлоу... Это не я, не я... А меня обвиняют... Ревность и глупость, эти сестры-близнецы людей, гонятся по моим пятам, как голодные волки. Я несчастная женщина, я умоляю вас... Обезумев, я убежала, но лучше бы я этого не делала. В этом моя ошибка... Но не выдавайте меня... Вы знаете меня, вы, который так мало, в сущности, видели меня.

Вот слова, которых не следовало говорить. Почему Джесси произнесла их? Джесси, готовая на всякий риск, любительница всего неизвестного... Да-да, я припоминаю ваши загоревшиеся при виде низменных страстей глаза, ваши ноздри, раздувавшиеся при виде чужих страданий, ваши нервы, протянутые к недостижимым желаниям... Но убить человека, своего же мужа – этого не может быть!..

Я беру нежную руку молодой женщины, руку с длинными, тонкими пальцами, и держу ее в своей. Нет, эта полная жизни рука не могла причинить смерть...

Я пытаюсь успокоить ее обычными словами утешения:

– Они наверняка потеряли ваш след. Как вы допускаете, что они теперь могут разыскать нас. Буран замел все следы, и нет такого человека, который умел бы читать по гладкому снегу. Даже если бы они попробовали такую штуку, то следы саней, собачьих лап, ваших шагов и моих – все это исчезло навсегда. В такую ночь в горах ненадежно, и сам дьявол не рискнет выйти туда на прогулку...

Темпест нервничает, идет к низкой двери, обнюхивает ее и лает.

Джесси, обезумев, кричит:

– Дьяволы обходят нас... вот они!.. Сомнений нет, это они!..

Среди рева бури раздается лай измученной своры и возгласы ободряющих ее проводников.

– Эгайгайяга! Эгойогооо...

Еще мгновение, и Темпест кинется. Джесси бросается вперед и падает перед собакой в тот момент, когда та уже у самой двери. Вдвоем, на коленях, мы образуем странную группу. Собака глядит на нас изумленными глазами...

Если только она залает, мы погибли...

Я сжимаю руками ее голову и говорю ей тихо на ухо:

– Темпест, бесценный мой, замолчи, не будь жестоким, сжался над этим бедным существом вот тут, возле тебя. Ты ведь не человек, а хорошая собака... У тебя простое и преданное сердце... тебе незнакомы опасные сплетения обстоятельств и доводы, принуждающие нас к действию: ложь, алчность, ревность, мысли, сверлящие голову днем и ночью... Они сейчас пройдут... слышишь их?.. Они ищут добычу... Видишь, как мало мы представляем собой. Только залай, и мы погибли. Моя собака, мой хороший, мой прекрасный Темпест, брат мой, друг мой, молчи, молчи, молчи! Прошу тебя: молчи, не будь носителем человеческого правосудия...

– Эгайгайяга! Эгайгайо... уа... уа... уа...

Возгласы и крики проносятся мимо, теряются, смешиваются и сливаются с хриплым воем бурана... Пот крупными каплями стекает у меня со лба на щеки, а Темпест устремляет на меня свой взор животного и затем, жалобно взвизгнув, нежно облизывает мне лицо...

Уже восемь дней мы засыпаны пургой и живем, как брат с сестрой, в уединении, невыносимом ни в каком другом пункте земного шара.

Когда опасность миновала, в Джесси вновь проснулась вся активность женщины. Она полна энергии, суетится по тесной комнате и избавляет меня от всех хозяйственных хлопот. Она – светильник моей жизни, ее присутствие угадывается в тысяче мелочей... На моей кожаной куртке – все пуговицы налицо; мокасины не болтаются, как лохмотья; в котиковой шапке сделана новая подкладка...

Сегодня утром она ушла с ружьем за плечами, забрав с собой Темпеста, который подружился с ней. К середине дня собака вернулась домой одна. Заподозрив неладное, я иду на поиски женщины. Пройдя около двух миль, застаю Джесси, которая ждет меня, покуривая папиросу, удобно восседающая на огромных рогах убитого ею северного оленя.

– Я не могу дотащить этого огромного зверя, а потому послала за вами собаку. Мы сделаем себе прекрасный запас свежего мяса.

Джесси счастлива, она громко хохочет, сверкая зубами молодой волчицы.

Очевидно, мы не можем оставаться здесь до бесконечности, и мы решаем ехать дальше.

Джесси запрягает собак, и они лают, выжидая момента, когда смогут побежать.

– Вы готовы?

Я отвечаю:

– Одну минутку... чуточку подождите, и я тогда к вашим услугам.

Я возвращаюсь в нашу хижину под благовидным предлогом проверить, не забыли ли мы чего. И стою... полон воспоминаний?.. Нет, ничего не осталось. Ничего, кроме маленькой кучки холодной золы на том месте, которое служило нам очагом.

Возвращаясь как-то с охоты на тюленей, я не заметил, как обыкновенно, на повороте дороги огонька в моей хижине, говорившего мне о том, что там есть женщина и что она ждет меня. Джесси, очевидно, задержалась где-нибудь. На пороге Темпест ждет моего возвращения. Радость его в этот вечер необыкновенна. Он скачет и лижет мне руки.

– Ну, спокойно! Да, ты хорошая собака, знаю. Ну, тихо, тихо...

Холодок пробегает по мне при входе... Брр, Джесси забыла затопить... Я зажигаю лампу, ставлю ее на стол, и взор мой падает на листок бумаги, приколотый ножом к доске стола. Это записка от Джесси. Несколько раз перечитываю ее, раньше чем понять содержание, а потом – передо мной грустная, несомненная действительность...

Джесси уехала...

Что писала она мне? О, пустяки! Слов она много не потратила...

«Друг, сейчас снимается с якоря судно, которое идет в Фриско. Я уезжаю. Вы долго мне этого не простите, но когда совсем успокоитесь, вы сохраните в глубине души воспоминание обо мне, и оно будет одним из тех, которые помогают прожить жизнь».

Так я и сделал. Я вырыл яму в моем сердце. Яму глубокую, как могила, и на дно ее положил Джесси Марлоу, которую встретил три раза, чтобы всякий раз вновь терять ее.

Время покрыло память легким слоем пыли, но моя осиротелая мысль раздирает серую пелену забвения и опять возвращается к тому, что было.

В лютые морозные ночи, когда северные ветры стучатся в мою дверь, я стараюсь связать одну за другой оборванные нити этого приключения и мог бы дать клятву, что все оно было лишь сном, если бы не этот висящий на стене тонкий стилет, трехгранное лезвие которого так хорошо подходило к ране на шее у одного сержанта Канадской конной полиции.

Джесси Марлоу, вы – явь... Я видел вас, я знал вас, вы промелькнули в моей жизни, оставив на сердце моем неизгладимый отпечаток. И в смятении дум моих, более сильном, чем памятный мне ураган, вы вновь предо мною, вы, для которой я был ничем, вы, бывшая для меня ничем, вы, обретающаяся сейчас неизвестно где на белом свете...

## Глава III

### Высшая мудрость, или Секрет счастья

Если на Юконе вас одолеет скука и если вам придется спускаться к Чилкутскому ущелью, то никогда не ездите по направлению островов Адмиралтейства. А если случайно микроб непоседства вас туда и потянет, то не переплывайте протока и никогда не высаживайтесь на острове Баранова.

Где это? На краю света, конечно! Хотя нет, на краю – это преувеличение, а этак на 57° северной широты.

На западной части острова, если злая судьба забросит вас туда, вы разыщете город, названный именем племени индейцев-туземцев ситха. Русские, основавшие его, пытались было назвать его Ново-Архангельском, но Ново-Архангельск – слово для произношения слишком трудное, и потому привилось название Ситха. Ситха – имя культурное... А, чего только ни придумают эти русские! Но не в этом дело. Когда я говорю «разыскать город», то понимать это следует буквально – *разыскать*. Если вы приезжаете морем, то вы ничего не видите: волны и рифы совершенно закрывают город, и только на горизонте вы увидите гору Эджкомб, вытянувшуюся, как гигантский часовой, и западную часть подножия вулкана Вестория. И только после того как вы обогнете Японский остров и пройдете длинным, извилистым фарватером, откроется наконец в глубине небольшая бухта Ситхи и развернувшийся амфитеатром город.

«Город» в применении к Ситхе – слишком громкое название; проще представить себе от пятисот до шестисот убогих хижин, расположенных амфитеатром и сколоченных из досок или еловых кругляков. Церковь, напоминающая не то минарет, не то избу, и группа домиков возле нее... Вот вам и Ситха!

Но на что вам эти подробности? Леди и джентльмены, к счастью для вас, вы никогда не попадете туда! Мне же просто захотелось взглянуть. Скука неотступно сопровождала меня по улицам города или, вернее, по его барам...

В один прекрасный вечер я стоял, облокотившись о деревянную балюстраду, возвышавшуюся на пятнадцать футов над большой залой, отведенной под танцы в «Северном» – шикарный бар, между нами говоря.

В глубине – оркестр, представленный механическим органом; справа – стойка, за которой, точно на троне, восседал мистер Джон Салливан, здоровенный дядя, возглашавший между двумя возлияниями: «Ну-с, молодые люди, выбирайте себе дам, по пятьдесят центов за тур». Здесь это стоит только пятьдесят су; в Скагуэе, Дайе и Доусоне за польку или вальс нужно платить доллар. Но в Ситхе больше товара, чем покупателей; здесь действует закон спроса и предложения. Предложение превышает спрос, вот продукты и в понижении. Каковы «дамы» в Ситхе? Да такие же, что и там, только, пожалуй, немного более помятые, более жалкие... А впрочем, я не желаю им зла!

Я не люблю кружиться по залу или топтаться на одном месте, даже если это стоит только пятьдесят су.

В тот вечер из-за недостатка клиентов много «дам» было свободно. Они сидели, закрыв широкими шерстяными платками свои обшитые блестками платья; никогда еще меня так не поражало их сходство с забитым скотом.

От души веселились только несколько матросов, высадившихся накануне с пришедшего из Сан-Франциско парохода, снабжавшего продовольствием все побережье от архипелага Королевы Шарлотты до острова Святого Павла, так называемого Тюленьего острова; добродушные парни возбуждали себя смехом и криками и поднимали адский шум, чтобы доказать, что они счастливы. Я должен выразить благодарность одному из них, возобновившему мой запас трубочного табака. Хорошего табака я не курил уже несколько месяцев... и теперь я

сидел там, сознаюсь, ни о чем не думая, смакуя табачное зелье, дым от которого расплывался синеватыми колечками.

Картина эта ясно встает в моей памяти. Я сижу там, оркестр надрывается, ноги танцующих отбивают такт о паркетный пол. Всюду раздается смех, у женщин – визгливый, у мужчин – жирный, и над всем этим – охрипший голос хозяина, приглашающего свою публику к выпивке.

Я скорее угадываю, чем чувствую чье-то прикосновение... Это мой друг Хонг Ченгси, с которым я познакомился в китайском квартале Сан-Франциско.

Мой друг Хонг Ченгси – китаец, сумевший устоять против всех запретительных декретов американского правительства, которое, чтобы избавиться от конкуренции желтолицых, попросту изгнало сынов Небесной империи из своих пределов. Каким образом, на основании каких сделок с шерифом Хонг умудрился остаться? Сознаюсь, что рассказать вам это я бы не мог. Все, что я знаю, это то, что остальные уехали, а он здесь.

Это живой, подвижной, худошавый старик. Носит ли он золотые очки? Что за вопрос! Конечно, как и все богатые китайцы, а вы можете мне смело поверить, что Хонг Ченгси – богатый китаец. Чем торгует? Признаюсь, ничего об этом не знаю. Но смею вас уверить, что Хонг – коммерсант, которого уважают даже янки. Если вы будете и дальше настаивать, то я вам, так и быть, скажу: есть подозрение, что он дает деньги в рост и торгует опиумом.

Я вижу, что слово «опиум» вызывает у вас улыбку? Там, где есть китаец, есть, конечно, и опиум...

Хонг Ченгси стоит возле меня и шепчет мне своим дребезжащим голосом:

– Вас это не занимает?

– Нет, не особенно.

– Да, я это вижу... Не стоит оставаться здесь.

– А куда идти, и не будет ли там еще хуже?

– Ко мне, если хотите...

– О, если так...

Хонг скользнул по паркету – это его обычная манера ходить. В трех шагах я следую за ним... Дверь распахнулась, дождь хлещет нам в лицо. Сын Неба, философ, поднимает воротник своего пальто. На мне оленья куртка, и тем не менее я бормочу сквозь зубы:

– Брр, мерзкая погода... – будто я не привык к ней.

Должен вас предупредить, раз я это забыл сделать раньше, что в Ситхе дождь идет 285 дней в году... Я говорю правильно, и вам это не померещилось – *двести восемьдесят пять* дней в году. Так гласит статистика, и вы не будете, надеюсь, оспаривать языка цифр. И подумать только, что к северу от города виднеется вершина горы, прозванной Чудная Погода! Исследователи хотели, вероятно, пошутить над нами...

Дождь льет ручьями. Хонг Ченгси идет, все время подпрыгивая, а я погружаюсь своими тяжелыми сапогами в липкую грязь и ругаюсь самыми последними словами. Теперь Хонг идет рядом со мной. Я споткнулся о выбоину, но с силой, которую меньше всего можно было ожидать в человеке его возраста, Хонг Ченгси удерживает меня от падения.

Из кратера Вестории вырываются огненные языки. Картина вулкана в действии была бы живописнее, если бы погода была лучше...

Я продолжаю ругаться. Какого дьявола я послушался этого сумасбродного старика, разве мне было плохо в баре? Там было тепло, да и трубка была у меня... Эх, люди никогда не бывают довольны своей судьбой...

– Это здесь, – говорит мой друг.

Право же, дом выглядит уютным и гостеприимным. Лицо мое проясняется, и я уже не ворчу.

– Войдите.

Старик пропускает меня вперед, и я захожу в его дом. Когда дверь за ним плотно закрылась, к нам подбегают двое слуг-китайцев. Хонг Ченгси отдает приказания на своем языке, извиняясь за это предо мной.

Слуги предупредительны, всюду электрическое освещение, приятно смягченное разноцветными китайскими фонариками. Теперь слуги занялись мною. Один из них проворно снимает с меня грязные сапоги. Другой берет мою кожаную куртку и облекает меня в халат с широкими мягкими рукавами. Никто, кроме китайцев, не умеет так удобно одеваться. Наряд этот вызывает у меня смех; это, должно быть, и в самом деле забавно, так как Хонг Ченгси прищуривает свои узкие глаза, что означает у него смех.

Слуги исчезли. Хонг приглашает меня сесть рядом с ним на подушки из ярких шелковых материй. Он хлопает в ладоши. Появляется китайская кукла. Откуда она вошла? Тайна.

Чай и трубки... Вероятно, это то, что заказал хозяин, потому что кукла вышла и сейчас же вернулась, поставив все это на стол.

Потрескивает маленький огонек. Кукла осталась. Она сидит на корточках, и вид у нее действительно заводной куклы. Опытной рукой она готовит шарик и обжигает его на огоньке... Протягивает первую трубку...

Хонг вежливо возобновляет свои извинения... Вот чай, алкоголя у него никогда не бывает; что касается опиума, то он мне его не предлагает. Он не считает меня, вероятно, достойным вкусить прелестей священного зелья. В сущности, так оно и лучше... Я вынимаю из кармана глиняную трубку и с разрешения Хонга закурываю...

Как долго я уже здесь? Не знаю. Я ни о чем не думаю. Я ни о чем не думал, а Хонг Ченгси относится с уважением к тому, что считает моей мечтательностью. Но в конце концов мне стало скучно. Я дымил, словно паровозная труба, во рту был скверный вкус, в горле першило... Я закашлялся. Из вежливости, Хонг тоже перестает курить. Он откладывает в сторону свою бамбуковую трубку и спрашивается о моем самочувствии.

До чего она смешна, эта китайская образаина, сумевшая в самой отвратительной в мире стране избежать человеческих условностей и претворить в действительность свою мечту!

Мои глаза с изумлением смотрят на этот утонченный продукт цивилизации. Он угадывает все мои мысли; просто поразительно, как этот человек видит меня насквозь. Это стесняет меня, и я закрываю глаза.

Тогда Хонг Ченгси говорит:

– Не опускайте ваших век, сын мой. Пока Будда приказывает нам жить, не будем скрывать красоты нашего взгляда. Все с течением времени стареет в нас: наше сердце, в особенности наше тело, лицо, рот, словно спущенный лук, подбородок, который проваливается или расплывается от жира, уши, которые сморщиваются, как старые обгоревшие тряпки, пальцы, которые скрючиваются, – и одни только глаза никогда не стареют.

Все это вам кажется так просто, и тем не менее вы никогда над этим раньше не задумывались. Почему? Потому что вы принадлежите к расе, лишенной наблюдательности.

Ваши мужчины, мнящие себя первыми среди всех мужчин, – только дети. Ваши ученые застряли на азбуке науки; ваши писатели – переписчики, бумагомаратели, водящие перо неопытной рукой; ну а ваши художники... Какие долговечные памятники построили они? Ваша Венера Милосская – здоровая самка. И ваш Парфенон не стоит и одной Ангкорской колонны... Вы проявляете способности в искусстве обмана. Вместо одного китайского слова у вас десять актов, исписанных чиновниками, а китайское слово между тем вернее всего.

Вы – народ-дитя, а всем известно, что в детстве бывают дурные наклонности. Мы допустили оплошность, научив вас искусству производить шум при помощи пороха. Вы воспользовались им, как мальчишки, чтобы убивать друг друга. Да, впрочем, все, чем только Будда вдохновил вас для счастья, вы отвратили от действительного назначения и направили к смерти.

Вы носители зародыша всех разрушений. Дети, из которых никогда не выйдет мужчин.

Он говорит, и его жиденький голос режет твердо и остро, как сталь... Дым поднимается из бронзовой жаровни, кукла все еще сидит на корточках, точно священное изваяние, и лицо ее – глухая маска.

Взгляд мой падает на небольшую фарфоровую группу, причудливую группу, которую мне сразу трудно различить.

Хонг Ченгси угадывает мое недоумение. Он отдает приказание, и кукла протягивает мне статуэтку. Это три сидящие обезьяны. У одной из них, левой, лапы перед ртом; у средней – перед глазами, а правая закрывает своими крошечными кулачками уши.

– Вас это заинтересовало? Так знайте, что в этом – секрет счастья нашей расы. Для нас группа эта – олицетворение высшей мудрости: *не говорить, не видеть, не слышать*.

Китайская кукла взяла из моих рук хрупкую фарфоровую группу и поставила ее на место. Маленькие зверьки опять там, наверху, и проделывают свой неизменный, веками освященный жест. Та, что не слышит, и та, что не говорит, как-то дерзко, мне кажется, глядят на меня...

Высшая мудрость? Полноте... И я мысленно ищу доводы, которыми сумею опровергнуть доказательства моего друга Хонг Ченгси. Надо полагать, что недостатка в доказательствах у него не будет, раз речь идет о подтверждении высказанного им положения. Но я ничего не придумал, а хозяин опять принялся за свое молчаливое курение.

На шестидесятой трубке, уловив мою мысль и отвечая на нее, Хонг Ченгси с трудом поднимает голову и говорит мне:

– Доказательство того, что мы носители высшей мудрости? Один пример, хотите?

– Я жду его.

Хонг Ченгси смиренно добавляет:

– Доказательство в том, что мы открыли Америку задолго еще до Христофора Колумба, но только мы воздерживались говорить об этом.

И голова Хонг Ченгси вновь опускается, образуя белое пятно на ярких шелковых подушках.



## Глава IV

### Вопросы Котака, эскимоса-иннуита

– Сознайся, что ты живешь в курьезной стране. Ты мнишь себя человеком свободным (бледнолицые – люди нескромные и всегда выдают себя за первых среди остальных), а между тем тебе нельзя делать и то и се. Что же тебе остается? Ничего. Ты умышленно усложняешь свое существование. Чего ради? У вас есть шерифы, полисмены. Зачем это?

Идеология первобытных людей та же, что и у детей, логика их беспощадна, и я должен сознаться, что был очень смущен, когда мне пришлось отвечать моему другу Котаку, который задал мне эти вопросы, вырезая ножом моржовый клык.

Сцена эта происходила у эскимосов-иннуитов, живущих на том крайнем выступе, которым Америка врзается в Ледовитый океан и который географы называют мысом Барроу. Вся земля вокруг нас была покрыта островами китов, отчасти напоминавшими остовы кораблей во время их постройки. Я заостряю конец гарпуна и, чтобы увильнуть от ответа, делаю вид, будто весь ушел в свою работу, но Котак не отпускает меня.

– Уж очень бы я хотел познакомиться с твоей страной. Если судить по тому, что я видел в Доусоне...

Я резко перебиваю его:

– Ты разве знаешь Доусон?

– А то как же? Я поднялся вверх по Юкону с белым человеком, который продавал молитвы<sup>8</sup>, и если только твоя страна похожа на Доусон, то я тебя не поздравляю. В канцелярии шерифа вывешено больше распоряжений и правил, чем придумал их когда-либо для счастья людей Туниа – дух, живущий в земле, в воде и на небе. И зачем целыми днями работать в темных шахтах прииска, чтобы затем в несколько минут за игрой в кости расшвырять с таким трудом добытые желтые камни? К чему это? Зачем пить, когда жажда уже утолена? Скажи!

Странно, до чего я все более и более углубляюсь в заточку стального острия, но Котак продолжает:

– Белый человек, который продавал молитвы, бранил меня, когда замечал, что я полирую мою палочку из слоновой кости, служащую мне для отвода колдовства Киолиа, духа северного сияния. Вместо этого он требовал, чтобы я прикладывался к двойной деревянной палочке, к которой пригвожден бледнолицый мученик. Зачем это?

– Ты раздражаешь меня, Котак!

– Не сердись и ответь мне: зачем вы заключаете в тюрьмы маленьких детей, родителей которых унес Дух, вместо того чтобы поручать их самым богатым семьям, как это делается у нас? Зачем вы устраиваете войны, чтобы переместить камень, служащий границей ваших владений? Вся земля – наша, море – тоже, все принадлежит всем сообща, кроме каяка, который принадлежит нам лично, потому что мы построили его собственными руками.

Женщины Доусона пляшут, пьют крепкие напитки и курят табак, и вы их презираете; наши же женщины изготавливают нам оружие и имеют те же права, что и мы. Ни одна большая охота не предпринимается без их согласия, и они всюду сопровождают нас. А твоя жена, где она?

Вопрос этот окончательно зажал мне рот; сознаюсь, что я мало был подготовлен к тому, чтобы ответить, почему я не привез жену поглядеть, что делается на мысе Барроу при 39 градусах ниже нуля накануне 1916 года.

Котак неумолимо и торжествующе продолжает:

---

<sup>8</sup> То есть со священником.

– А со стариками вы что делаете?

Вероятно, я очень поразил бы моего товарища, если бы ответил ему, что у нас эрудиция обуславливается старостью, что первые места занимают старики, что они когтями и зубами отстаивают получаемые ими доходы и задают тон в политике или, что еще проще, в литературе.

Я, конечно, не высказываю все это, чтобы не сбить с толку бесхитростного Котака, эскимоса-иннуита, живущего на краю обитаемого мира.

Котак хладнокровно добавляет:

– У нас стариков съедают.

На этот раз он переборщил, и я грубо перебиваю его, стараясь разъяснить ему весь ужас его поведения, но Котака нельзя убедить такими пустяками.

Он продолжает:

– Удачные уловы и хорошие охоты чередуются периодами голода, тогда приходится уничтожать лишние рты. Да и сами старики просят тогда о смерти. Мы ничуть не варвары и избавляем их от самого вида смерти: их просто в один прекрасный день отравляют, когда они ничего об этом не подозревают, потом им перерезают горло и бросают их мясо нашим собакам.

– Вашим собакам?!

– Да, разумеется, а потом мы сами съедаем собак.

На этом наш разговор в тот день и закончился.

## Глава V

### Город тюленей

Между 171° и 169° западной долготы по Гринвичу есть остров, имеющий на карте вид ошипанной бегущей курицы. Это – остров Святого Павла, Тюлений остров.

У этой курицы трое цыплят: Святой Георгий – на юго-востоке, остров Моржей – на востоке и остров Выдр – на юго-западе. Все четыре известны мореплавателям и географам под именем островов Прибылова, которые алеутские эскимосы называют Атик.

Остров Святого Павла, то есть ошипанная курица, представляет собою скалистый остров с многочисленными кратерами и коническими горными вершинами. О нем, вероятно, и до сих пор никто бы ничего не знал, если бы в один прекрасный день господа тюлени не вздумали избрать его своим местопребыванием.

Увы! Редьярд Киплинг поведал нам не без юмора прекрасную историю белого тюленя, историю, переданную ему, по его словам, корольком Лиммершином, и Киплинг доказал нам, что где тюлени, там и люди, умеющие их бить.

Правда, Котик, белый тюлень, находит в конце своих приключений благословенный край, куда никогда не заходят охотники. Счастливый Котик!

Но я боюсь верить в такое же счастье для господ тюленей, так как в мое время они и не думали покидать берег Святого Павла, чтобы отправиться искать счастья на блаженных полях Великого Моржа.

Они тысячами покрывали там берег.

После Бюффона, натуралиста с кружевными манжетами, или почтенного Кювье, или после великого английского поэта, которому книга моря так же хорошо знакома, как и книга джунглей, осмелюсь ли я вновь воспеть геройские битвы тюленей-самцов за обладание участком земли в 30 квадратных метров, а также и гомерические бои за – как бы это сказать? – за единоличное пользование восемью или пятнадцатью тюленьими дамами, избранницами их сердца!

Никогда право сильного не находило большего подтверждения в природе, и никогда оно так ярко не было выражено.

С той поры, как господа тюлени размножаются в водной стихии, у них пробуждается в определенные периоды все та же жажда победы, и в первых числах июня они появляются, предшествуемые старым «быком» с шерстью цвета стали. Можно наблюдать, как они приближаются, держа широкие усатые морды над водой; они берут берег приступом, а так как их задние лапы обращены назад, то они не могут подняться и двигаются последовательными толчками, в которых главную роль играют мышцы туловища. Всячески помогая себе передними лапами, они подыскивают лучшие места. Для того чтобы место считалось хорошим, оно должно отвечать трем условиям: быть вблизи берега, быть защищенным от ветра и находиться на солнечной стороне.

Увы! Место не за тем, кто первым его займет, а за тем, кто сумеет заставить признать его. Кусая, царапая, давя противника всей своей тяжестью, сильные закрепляют за собой отвоєванные места. Количество рубцов на некоторых шкурах достаточно красноречиво говорит о выдержанных боях.

Когда в доме уже все в порядке, остается только ждать прихода хозяйки. Она появляется несколько дней спустя.

В городе тюленей есть бдительный сторож, который, устроившись на возвышенном месте, сигнализирует о приближении опасности или о других достопамятных событиях. Прибытие тюленьих дам – достопамятное событие. Гортанными звуками, напоминающими мычание и звук органа, караульный подает сигнал, что дамы появились на горизонте. Тотчас же самцы

бросаются в воду, демонстрируют высшую школу плавания и ныряния, ревут, мычат, делают пируэты, вновь ныряют и всплывают на поверхность, выбрасывают воду из ноздрей и вообще делают в угоду дамам тысячу любезностей и фокусов.

Перед нами шумный свадебный кортеж, направляющийся к берегу, где происходят смотрины жен. Некоторые из самцов, наиболее ненасытные, набирают себе целый гарем. Известны случаи, когда у «быков» бывало до пятнадцати самок. Но вместе с женитьбой – прощай, покой! Господин тюлень становится ревнивым, злым, мнительным; он так ревностно оберегает свою собственность, что больше не покидает своего уголка. В течение двух-трех месяцев, пока будет стоять хорошая погода, старый самец не покинет своего поста; он забывает про море и еду. Доходит до того, что, приплыв в июне толстым и большущим, он уплывает осенью истощавшим, иногда потеряв в весе до четырехсот фунтов.

Горе «холостяку», бродящему вокруг гарема. Это ему может стоить если не жизни, то по крайней мере основательной трепки, и молодой донжуан, прихрамывая, должен вернуться на место, которое было оставлено за ним с самого начала.

Менее приспособленные для борьбы, слабые, а потому и побежденные обречены на безбрачие. Соплеменники оттесняют их в глубь острова, в открытые места, где солнца никогда не бывает и где дуют холодные северные ветры. Не будучи производителями и, главное, лишенные возможности иметь потомство, они обречены на верную смерть, так как правила охоты для них безжалостны: и убиваются и уничтожаются исключительно холостяки.

Статистики приводят цифры, из которых видно, что ежегодно под железными дубинками охотников гибнет более трех миллионов тюленей.

Бедные холостяки!

Но оставим эти соображения и вернемся к тюленьим дамам, которые являются невозмутимыми зрительницами битв своих господ и повелителей. Вскоре после своего прибытия самка разрешается обыкновенно только одним детенышем, покрытым мягким пушком. Есть сотни видов тюленей; зоологи назовут вам по-латыни их имя, род, семейство и прочее.

Тюлений беби – это бойкое существо, которое идет в море через несколько часов после своего появления на свет; это какие-то вундеркинды вроде тех, которые в трехлетнем возрасте играют на скрипке. В благоразумных семьях ждут обыкновенно, пока тюлененок не лишится своего пушка, на что уходит недели две.

Все тюленьи беби подтвердят вам, что день, когда они теряют свой пушок, далеко не веселый денек для них. Мамаша-тюлениха появляется и тащит силой – да-да! – тащит силой свое потомство в воду. Тут не помогают ни мычание, ни жалобные вздохи. Мамаша безжалостна. В воду – и бац! Она сбрасывает своего малыша, который тут же начинает отчаянно барахтаться в соленой воде. Если дело принимает плохой оборот, то мамаша-тюлениха ударом хвоста водворяет неосторожного детеныша на берег, но если тюлененок обладает хоть небольшой смекалкой, он быстро приспосабливается и через несколько дней уже становится ловким пловцом. С этого момента у него есть новое место для игр, где он может резвиться с товарищами.

На острове Святого Павла в городе тюленей есть кварталы, площади, улицы, по которым каждый идет по своим делам и где всякий наслаждается полнейшей свободой, свободой в наиболее приемлемой ее форме, состоящей в том, чтобы делать все что заблагорассудится при условии не стеснять своих соседей.

Но ведь тут общим распорядком ведают животные, а не люди.

Когда сезон кончается, когда первые осенние туманы окутывают высокие скалистые берега Святого Георгия и вулканические вершины Святого Павла, господа тюлени, сопровождаемые господами тюленихами и маленькими тюленьятами, пускаются в путь к южным морям.

Тысячи холостяков, возмужавших за прошлые годы, пользуясь свободой в свободном море, больше не вернутся; им не придется больше охотиться за палтусом и лососем, они не

будут больше играть на гребнях волн, фыркая и выбрасывая из ноздрей воду и распустив когти, не дадут уже больше уносить себя течением.

Увы, шкуры их будут неделями сушиться на плетнях боен; кожа их, гладко выстриженная, очищенная от жестких волос, сохранит лишь коричневый подшерсток, который в руках искусного лондонского или парижского мастера превратится в «морскую выдру» (котика) для украшения плеч наших прекрасных леди.

Бедный ободранный холостяк, мясо твое далеко не из вкусных, но все же вызовет восторг моих друзей алеутов или иннуитов, а вытопленный жир твой будет выменен торговцами за несколько долларов, а чаще всего за несколько галлонов виски.

Все, что исходит от тебя, безобиднейшего, а быть может, и благоразумнейшего из всех животных, все идет в оборот.

Все вплоть до твоих зубов, которые по десять центов за штуку можно приобрести во всех лавках Сиэтла или Ванкувера.

Проплыть весь Тихий океан, от острова Хуан-Фернандес до архипелага Прибылова, чтобы в результате болтаться в виде брелока на жирном брюхе самодовольного буржуа – какая печальная участь! Право, выдумать такую штуку могут только люди.

## Глава VI

### Об употреблении зонтиков у тлинкитов

Дверь бесшумно открывается. Появляется курносая физиономия Котака. Он входит украдкой, потом замечает меня, и физиономия его тотчас же озаряется широкой улыбкой, обнажающей редкой белизны зубы. От этого его короткий и плоский нос кажется еще шире, и у глаз его образуются складки вроде гусиных лапок.

Котак проделывает свои самые изящные поклоны и по очереди трет себе то правое ухо, то левую ноздрю, что является его манерой выражать свою воспитанность. Закончив ритуал вежливости, он без всяких церемоний садится возле меня на походную кровать, на которой я лежу совсем одетый. Котак чешет себе указательным пальцем макушку, затем приглаживает свои жесткие, густые, блестящие черные волосы. Несомненно, Котак имеет сообщить мне что-то очень важное.

Я спрашиваю о здоровье его жены, отца, деда и трех маленьких детей. Все чувствуют себя прекрасно. Ну а собаки как? Ничего, вся эта команда сейчас на отдыхе: Долл, сломавший себе в тундре ногу, сейчас поправился, а Каа-Ка уже не страдает коликами, заставлявшими его выть и кататься по снегу.

Только тогда я обращаю внимание на костюм моего друга Котака. На нем две куртки из тюленьей кожи, причем верхняя – с капюшоном; его штаны, тоже из тюленьей кожи, подвязаны ремнями. Он натянул свои высокие сапоги с подошвами из лосиной кожи; рукавицы из оленьей кожи болтаются у него за поясом.

– Ты разве уезжаешь в экспедицию?

– Да.

– Ну, желаю тебе счастливой охоты, Котак. Вот, возьми с собой эту бутылку виски.

Котак укладывает виски в карман и не двигается с места. Вдруг он принимает решение:

– Мы едем вместе!

– Кто, я?

– Ты.

– На охоту?

– На охоту. Мне сообщили о проходе большого стада тюленей. Я уйду в море и беру тебя с собой.

Я пытаюсь протестовать. Котак проявляет на этот раз неисчерпаемое красноречие.

– Ты не можешь не ехать со мной. Во-первых, это тебя заинтересует. Охота на тюленей – большое наслаждение, а затем...

– А затем?

– А затем, ты не можешь вечно оставаться один. Туния, живущий в земле, проник в твою голову, пока ты спал, но Ворон, который нам покровительствует, прогонит Туния. Он всемогущ, это – наш Отец. Он похитил у нашего деда Шариота рыбу, чтобы передать ее тлинкитам; он сделает Туния подношение, и Туния скроется в свою подземную обитель.

Ну, раз в это дело вмешиваются все эскимосские боги, то мне ничего больше не остается, как только подчиниться.

Я иду за своим винчестером, но Котак удерживает меня:

– Нет-нет, не надо этой штуки.

– Да, но чтобы охотиться, нужно ведь ружье.

– Совершенно излишне.

И Котак тут же объясняет мне, что ружейные выстрелы разгоняют тюленей, которые настолько пугливы, что не появляются пять и даже шесть лет в тех местах, где произведены были выстрелы.

Наконец мы выходим. Он знакомит меня со своим оружием: дротики, гарпуны, копья. Все это, утверждает он, оружие, посланное эскимосам Ключем, властелином горных вершин, еще тогда, когда люди говорили только на языке собак.

На берегу собралось несколько человек, занятых приготовлением приманки, затачивающих ножи или скоблящих шкуры костяными скребками.

И женщины вместе с ними, одетые точно так же, как и мужчины; только капюшоны на них шире. Здесь же лежит новорожденный. Его заботливо запеленали в меха, из которых чуть-чуть выглядывает бронзовое личико со светло-голубыми изумленными глазами.

Котак вытаскивает на берег свой каяк, а затем и тот каяк, который любезно предоставил в мое распоряжение Тогуй, так как он сам собирался выйти на «лысого», как зовут здесь свирепого белого медведя.

Что и говорить, культурность эскимосов всегда поражала меня, но особое проявление ее можно наблюдать только в постройке этих легких лодочек. Это тюленьи кожи, натянутые на березовый остов длиной от пяти до шести метров и шириной полтора метра. Посередине оставляется круглая дыра, в которую усаживается гребец. Он натягивает на себя одну из кож, застегивает ее, и с этого момента лодка становится непотопляемой. Человек и лодка составляют одно целое. Если она даже и опрокинется, то удар весла немедленно поднимает ее. Это какой-то шедевр точности и изобретательности.

Котак руководит нашей посадкой, сам застегивает ремешки, вручает мне одно-единственное весло, а затем и сам усаживается. Впереди – его оружие, сзади – пузырь, привязанный длинной веревкой к гарпуну, тот самый пузырь, назначение которого – указывать след попавшегося на гарпун тюленя.

Женщины шлют нам пожелания счастья, и улыбка их кажется еще шире благодаря тату – маленьким пуговицам из тюленьей или слоновой кости, воткнутым по обеим сторонам губ. Их подбородки татуированы параллельными линиями количеством от пяти до двенадцати, в зависимости от племени, к которому они принадлежат.

Тем временем Котак пользуется многолюдным сборищем для достижения личного успеха. Он ловко поворачивает свою утлую байдарку, раскачивает ее, опрокидывает, долго держит ее килем вверх, а затем снова появляется на поверхности воды, словно морской бог, забавляющийся на гребнях волн.

Когда он считает, что вызвал достаточное восхищение зрителей, он издает тихий свист и берет курс в открытое море.

Я выбиваюсь из сил, чтобы следовать за ним. Мой каяк буквально летит по волнам, и вскоре, обернувшись, я вижу, как мыс Барроу исчезает, сливаясь с фантастическими горами китовых остовов, белеющих, как мел, на синеватом снегу.

Котак только что состряпал блюдо по своему рецепту, в котором кровь и жир тюленя играют главную роль.

Охота была удачная. Результат – четыре убитых самца, которых мы притащили сюда, прежде чем вернуться на мыс Барроу.

Мы находимся на каком-то островке, среди скал, нагроможденных одна на другую, на которых гнездятся мириады птиц со сверкающим оперением. Но что всего удивительнее – это царящие здесь порядок и гармония.

Каждая порода имеет свой определенный район: чайки с перьями цвета персика выбрали себе высокие утесы; в нижнем этаже, на скалах, спускающихся террасами к морю, щеголяют на своих розовых лапках оранжевые поморники; в расщелинах скал – миллионы неведомых птиц, на крыльях которых переливаются все изумрудные оттенки океана и вся лазурь неба.

Море – спокойное, иссиня-зеленое. На заднем плане, где-то совсем далеко, в сизовой глубине, вырисовывается на горизонте кружевной силуэт огромной ледяной горы, борющейся с увлекающим ее подводным течением.



Гордясь возможностью показать свои знания, Котак пользуется случаем и читает мне лекцию о тюленях. Его выражения, конечно, не столь изящны, как у Бюффона, но все же, слушая его, Бюффон мог бы многому научиться. Он говорит мне о тюлене цвета буйвола, о тюлене с раздвоенной верхней губой, на передних лапах которого только четыре пальца, о тюлене с длинной шеей, который приплывает неизвестно откуда и у которого совсем нет когтей, о стариках с пятнистой, как у тигра, кожей и о молодых с черной спиной и белым брюхом. О тюлене ростом с быка, которого можно только изредка встретить, но который никак не попадает на гарпун; некоторые охотники гнались за ним на протяжении полутора миль, а он, покровительствуемый водяными духами, исчезает всегда в тот самый момент, когда кажется, что вот-вот уже настигаешь его. Есть и такие, у которых голова черепахи, а другие затейливо окрашены в черноватую окраску с каким-то желтым рисунком на боках. Крапчатые и пятнистые насчитываются сотнями тысяч, а у одной породы есть на спине ярко выделяющиеся круги. Одна порода бородатая, другая усатая. Есть еще сивучи с гноящимися глазами, с мягкой шерстью или с грубой; одни черные, другие пепельно-серые. У одних, вероятно, кокетства ради, брюхо украшено рыжей полоской, у других полоска эта проходит, точно шарф, по голове. Есть и желтые с длинными ушами; есть и такие, у которых, в отличие от других, уши отвислые. Попадают даже такие, у которых вовсе нет когтей, в то время как у некоторых пород их три, четыре и даже пять.

И Котак иллюстрирует свою лекцию такими подробностями, которым позавидовал бы любой директор музея. Он объясняет мне, почему тюлени, у которых задние ноги вывернуты назад, не могут стоять и вынуждены отскакивать от земли, словно мяч. Он знает, что у обыкновенного тюленя тридцать пять зубов, восемнадцать наверху и семнадцать внизу, что большинство из них имеют пять развитых когтей, соединенных между собою плавательной перепонкой. Он видел и таких, длина которых доходила до трех метров и которые весили 800 фунтов; но, в общем, большинство имеют в длину только полтора метра, а вес их наполовину меньше.

Я невольно думаю о всех тех гекатомбах, жертвами которых являлись несчастные тюлени!

Бедные тюлени, не знающие человеческой подлости! Смерть ваша ужасна! Кто не слышал ваших криков и ваших раздирающих душу призывов, тот не в состоянии себе представить, до чего может дойти страдание. Вас бьют, оглушают, режут, рубят на части, кровь течет, льется ручьями, и скоро вместо снега остается жидкое месиво, от которого идет тошнотворный запах.

Но Котак, не склонный к сентиментальному образу мышления, говорит мне как человек практический:

— На этот раз добыча далась нам легко, но знаешь ли ты, что значит часами сторожить на плавучем льду дыру, из которой должен вынырнуть тюлень, чтобы подышать воздухом? Сидишь тогда на корточках на льду и не сводишь глаз с проруби, зажав в руке гарпун. Холод пронизывает насквозь, мысли путаются, в глазах темнеет, и только одно сознание сверлит голову: «Если охота будет неудачной, все племя будет голодать». Для нас тюлень — это жизнь, наша жизнь и жизнь наших собак... Вот почему племена, живущие далеко от берега, предпринимают большие экспедиции, чтобы сделать себе запасы. Наши братья тлинкиты берут зверя живьем. Это любопытная охота. Они выстраиваются полукругом, становясь между тюленями и морем, и пугают их громкими криками; круг постепенно замыкается, и тогда они гонят тюленей в желательном направлении. Чтобы достигнуть своей цели, охотники пользуются странным оружием, ввезенным сюда твоими братьями, — зонтиками.

— Зонтиками?

— Да, зонтиками, и это действительно очень удобно! Зонтиками, выменянными у рыбаков и канадских охотников, большими красными и синими зонтиками, которые с треском открываются и закрываются. Обезумевшие животные при этом скачут и падают в изнеможении. Потом та же процедура с зонтиками начинается сначала, и так продолжается до тех пор, пока живот-

ные не дойдут до того места, где их удобно прикончить. Иногда такая охота продолжается двадцать дней.

Я не могу прийти в себя от того неожиданного употребления, которое эскимосы Аляски сделали из старых зонтиков наших отцов. И, как всегда, в самых печальных положениях бывает комическая нотка; ее-то именно я и улавливаю, и она вызывает у меня улыбку.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.